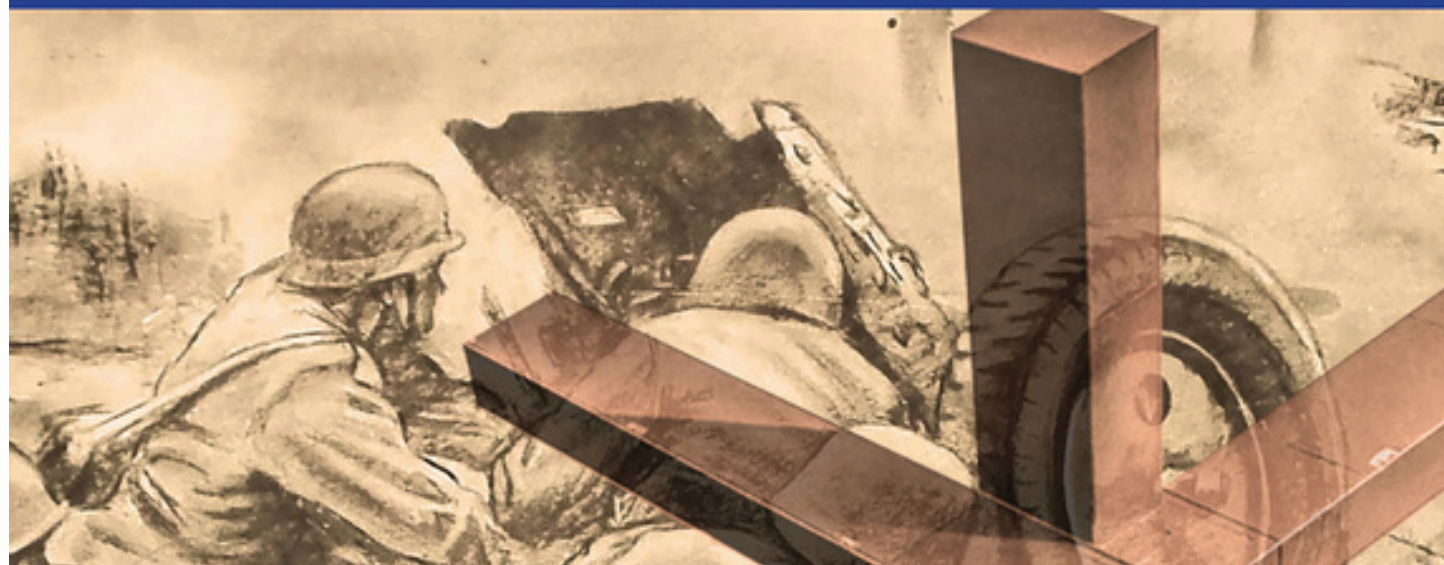


Константин Симонов

Двадцать дней без войны

ФТМ



Из записок Лопатина

Константин Симонов

Двадцать дней без войны

«ФТМ»

1956-1978

Симонов К. М.

Двадцать дней без войны / К. М. Симонов — «ФТМ»,
1956-1978 — (Из записок Лопатина)

«... Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над трилогией «Живые и мертвые», я задумал еще одну книгу – из записок Лопатина, – книгу о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами. Между 1957 и 1963 годами главы этой будущей книги были напечатаны мною как отдельные, но при этом связанные друг с другом общим героем маленькие повести («Пантелеев», «Левашов», «Иноземцев и Рындин», «Жена приехала»). Впоследствии все эти вещи я соединил в одну повесть, назвав ее «Четыре шага». А начатое в ней повествование продолжил и закончил еще двумя повестями («Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой...»). Так сложился этот роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», который я предлагаю вниманию читателей.» Константин Симонов

© Симонов К. М., 1956-1978

© ФТМ, 1956-1978

Содержание

1	5
2	11
3	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Константин Михайлович Симонов

Двадцать дней без войны

1

Возвращаясь на редакционной «эмке» из-под Ржева, Лопатин на объезде у Погорелого Городища попал под утреннюю немецкую бомбежку, перележал ее в снегу и нанюхался гари от разрывов.

Если б за пять минут до этого успели обогнать по обочине колонну порожних грузовиков, тоже шедших к Москве, попали бы в самую кашу. Два передних грузовика разбило в щепки. Но не обогнали, и обошлось – перележали.

Как ни глупо, а могли отдать концы на этом объезде, уже на пути к Москве, после того, как за две недели на фронте так ни разу и не подсунулись под близкий обстрел. Везло. А впрочем, не только везло. Если не врать самому себе, то на этот раз, после Сталинграда, он поехал сюда, под Ржев, без большой охоты. Устал от чувства опасности и никуда особенно не совался.

После бомбежки отъехали уже десять километров, а внутри все еще ныло от страха. Он остановил водителя и, чтобы избавиться от нытья под ложечкой, выпил с ним по глотку из фляги и закусил мерзлым сухарем. Стоял мороз, и – вслух – считалось, что по этой причине и выпили.

Когда Лопатин к вечеру добрался до редакции, которая еще весной вернулась на свое прежнее место, на Малую Дмитровку, редактора не было. Оказывается, он улетел под Котельниково, где немцы пытались прорваться к Сталинграду. Секретарша сказала, что редактор с утра перед вылетом вызывал к себе Гурского и Гурский все знает.

– Подите к нему!

– Прибыл? П-посиди или п-полежи. – Гурский, не вставая из-за стола, показал рукой на диван. – Д-дописываю п-передовую. Сейчас в последнем абзаце сок-крушу третий рейх, отнесу и п-поговорим...

Он подвинул по столу папиросы:

– Д-дыми в пределах гуманности. А то все т-толкуются, все д-дымят, а я сижу тут и к-кашляю – слабогрудое городское дитя. Фортку открывать – холодно.

Он говорил все это, не отрывая глаз от бумаги и продолжая писать, навалившись широкой грудью на стол; все, кто приезжал с фронта, действительно толклись у него и по делу, и без дела, просто чтобы послушать его остроты.

– Сок-крушил, – сказал он через несколько минут, собрал листки, вышел – и тут же вернулся и сел рядом с Лопатиным.

– Чего он меня держал там и чего вдруг вызвал? – спросил Лопатин о редакторе.

– Д-держал, как я д-догадываюсь, чтобы ты написал об освобождении Ржева, а вызвал потому, что перспектива пока отодвигается. Отб-бывая на фронт, п-приказал, чтобы ты написал что-нибудь обобщающее на д-два подвала: та зима и эта. Год н-нынешний и год м-минувший. Могу подарить тебе это название лично от себя. Ну, как вы т-там наступали?

Лопатин пожал плечами:

– П-посредственно?

Лопатин не ответил. Его покорило. В общем-то, это была правильная оценка того, что происходило на Западном фронте, но само слово «посредственно» никак не сочеталось с теми отчаянными усилиями во что бы то ни стало продвинуться еще на километр или на два, которым он был свидетель в последние дни.

Гурский усмехнулся его молчанию. Он привык к своей коробившей других безапелляционности и гордился ею.

– Зато могу тебя порадовать, – сказал он, – т-там, под К-котельниково, ф-фрицам уже не светит п-прорваться к Сталинграду. Начали бить им м-морду и продолжаем по н-нарастающей. П-попросился поехать с редактором, но он приказал сидеть здесь и п-писать передовые по его ук-казаниям оттуда. К-каждому свое. Где заночуешь?

– А мой номер в «Москве» за мной? – спросил Лопатин.

– За т-тобой, куда же ему деться.

– Тогда поеду в «Москву» – писать.

– Н-не торопись, – прощаясь, сказал Гурский. – Вид у т-тебя усталый, и, если завтра не сдашь, мир не рухнет. Заг-гон есть.

Хотя он и был на двенадцать лет моложе Лопатина, но привычно говорил с ним как старший, советов которого надо слушаться. Заботливый к тем, кого любил, он взамен хотел нравственной власти.

– Да, – уже простившись, вспомнил он, – письмо от д-дочери. – Порылся в ящике стола, вынул и отдал Лопатину письмо. – Завтра расскажешь мне, к-как она там живет.

В гостинице «Москва» хотя и экономно, но топили. Три недели назад, когда Лопатин вернулся из Сталинграда и редактор устроил его сюда, топили только на двух этажах, теперь – на трех. Народу прибавилось. Об этом ему сказала дежурная по шестому этажу, которой он отдал одну из двух привезенных с фронта банок американской тушенки.

Дежурной хотелось отблагодарить его, и она спросила, не нужно ли второе одеяло. А когда он сказал, что не нужно, предложила постирать и подшить ему к утру подворотничок.

Он пошел в номер, разделся, отнес ей гимнастерку и, вернувшись, залез в кровать под одеяло и полушубок и стал читать письмо, полученное от дочери.

Это пришедшее из Сибири, из Омска, письмо было результатом тех последних перемен в его личной жизни, которые хотя и надвигались давно, но разразились, как запоздалый дождь, лишь в этом году: между двумя его поездками на фронт, весной, к нему в Москву приехала жена и заявила, что выходит замуж.

Еще с ее прошлогоднего, декабрьского, нелепого приезда в Москву ему было ясно, что ту жизнь, какой они жили, вряд ли разумно длить дальше. Но у него не было ни времени, ни окончательной решимости ставить самому так называемые точки над и, о которых с такой легкостью говорят люди, наблюдающие со стороны чужое неустройство. Времени не было, потому что была война, на которую он ездил, как заведенный, то на один фронт, то на другой, а окончательной решимости не хватало, потому что в деревне, под Горьким, жила их общая дочь, продолжавшая получать письма от них обоих и хотя чувствовавшая неблагополучие, но не знавшая его меры.

Во всяком случае, так ему до поры до времени казалось.

Была еще одна причина. Уже зная, что его жена живет вдали от него с другим человеком, он все еще продолжал высылать ей аттестат. С кем бы она там ни жила, деньги, наверное, были ей нужны, и самому писать, что им надо развестись, значило бы напоминать, что он может лишить ее этих денег. Ему претила эта мысль, связанная с другой: а вдруг она из-за этих денег пойдет на какую-нибудь совсем уж унижительную ложь.

Но весной она сама свалилась ему как снег на голову. Может быть, у нее были и какие-то еще дела в Москве, но сказала, что приехала, только чтобы объясниться с ним, прежде чем выйти замуж за другого.

Он только накануне вернулся из Крыма, злой, мрачный, натерпевшийся горя и страха на Керченском полуострове. И, уже вернувшись, не то чтобы понял – понимал и раньше, а шкурой чувствовал, что смертен и мог пропасть ни за понюшку табаку. Все заготовки для корреспонденции, все, ради чего мотался там, в Крыму, с места на место, пошло коту под

хвост. Писать в газету было нечего и не о чем. Редактор при всей своей жадности к материалам даже не спросил, что привез. Только при встрече крепче обычного пожал руку, молчаливо поздравляя, что остался жив.

Он-то остался. Но из головы не выходили другие...

И это состояние его духа, наверное, повлияло на их встречу с женой, приехавшей в Москву для объяснений в каком-то слепом ко всему окружающему, самодовольном ощущении собственного благородства.

Она приехала прямо в редакцию рано утром, сразу с поезда.

Он ночевал в редакции, но ключ от их квартиры был у него.

Вахтер позвонил снизу, разбудил еще спавшего Лопатина и сказал, что к нему просит разрешения пройти женщина, Ксения Сергеевна.

Лопатин наспех оделся и спустился в вахтерскую.

Она демонстративно покорно стояла, прислонясь к стене с чемоданом в руках. Он взял чемодан.

– Ключ от квартиры у тебя? – спросила она.

Он кивнул.

– Может быть, поедem домой?

– Сначала поднимемся, – покосившись на вахтера и не говоря ни «да», ни «нет», ответил он. И, поискав глазами, сунул чемодан под канцелярский стол, за которым сидел вахтер. – Пусть пока постоит.

Они поднялись на третий этаж, в комнату, где он в ту весну жил, когда приезжал с фронта. Она огляделась и села на край стула.

– Теперь, когда мы вдвоем, может, ты все-таки поцелуешь мне руку? – спросила она.

Это было из какой-то пьесы. Он не помнил из какой, но помнил, что из пьесы, и это раздражило его, напомнило, что она завлит театра и живет с директором, которого зовут Евгением Алексеевичем.

– Почему не дала телеграммы, я бы тебя встретил? Было бы все же умнее, – сказал он.

Она замялась, и он подумал, что, если она приехала в Москву не одна, а он бы ее встретил, все вышло бы не умнее, а еще глупее.

– Может быть, все-таки поговорим дома, а не здесь – в канцелярии?

– Я здесь живу, – сказал он.

– Ты догадываешься, зачем я приехала? – спросила она, подняв на него глаза. Она была все так же красива, и этого по-прежнему нельзя было не заметить.

– Нет, не догадываюсь, – сказал он.

Это была правда. Всю свою жизнь с нею он почти никогда не мог догадаться, что ей придет в голову в следующую минуту.

– Я пришла просить, чтобы ты снял с меня грех и отпустил меня, – не дождавшись ответа, сказала она. – Я должна выйти замуж за Евгения Алексеевича.

Сказала «пришла», а не «приехала», – наверное, заранее обдумала. Грешницы не приезжают, а приходят.

Он еще раз посмотрел на нее, на ее изящно и грустно изогнувшееся на стуле знакомое тело, и удержался от грубости, не сказал: «Ну что ж, раз должна – так и выходи!» Промолчал.

В конце концов, при чем тут она? Во всем виновата не она, а вот это ее тело, которое он целых пятнадцать лет любил рассудку вопреки. «И не мог оторваться от него, не мог отлипнуть», – с презрением к собственной слабости подумал он о себе.

Она смотрела на него, а он молчал. Ей казалось, что он злится или, как она мысленно привыкла выражаться, «закусывает удила», он, наоборот, смягчился, удивленный мыслью о собственной вине.

Раньше раздраженно привык считать ее виноватой в том, что в нужном ему теле жила ненужная ему душа, равнодушная к тому, чем он жил и что делал, занятая только собой, да и собой-то – по-глупому.

Да, все так, но он-то умный, а не глупый, и с царем в голове, – он-то что сделал, чтобы все это не длилось пятнадцать лет?

«Теперь уже шестнадцать», – поправил он себя, потому что, несмотря на разрыв в прошлую зиму, их все еще что-то связывало.

И не он, умный, а она, глупая, клала сейчас всему этому конец.

– Ты должен быть спокоен за меня, – не выдержав молчания, сказала она. – Я выхожу замуж за хорошего человека.

И зачем-то расстегнула планшетку. У нее была теперь не сумка, а планшетка, разозлившая его дамская дань военному времени.

Может быть, хотела показать ему фотографию хорошего человека, за которого выходила замуж?

Он подумал об этом с иронией, но остановил себя: а почему непременно за плохого? Ведь и ты считал себя хорошим. И жил с ней.

Но фотографию хорошего человека ему видеть не хотелось, и, наверное, это выразилось на его лице. Она со вздохом застегнула планшетку.

– Неужели так и будем разговаривать с тобой здесь?

– А где же еще? – сказал он без вызова, с удивившей ее мягкостью. И добавил, что сделает все, как она хочет. Если хочет, чтобы прямо сейчас пошел с нею в загс, пойдет туда. Если хочет, чтобы написал заявление о разводе, напишет и отдаст ей.

У нее выступили слезы; простота, с которой он согласился сделать то, зачем она ехала, расстроила ее. Она хотела именно этого, но хотела, чтобы это было как-то по-другому.

«Вот такая она и всегда – без царя в голове», – подумал он с глухим отзвуком давно умершего и, значит, все еще не до конца умершего чувства к ней.

– Лучше напиши, – вытерев слезы, сказала она.

Он сел за стол, написал и, оставив ее одну, сходил к помощнику редактора заверить подпись и поставить печать. Он не был уверен, необходимо ли это, но не хотел, чтобы потом оказалось, что ему надо делать что-то еще.

Когда он положил перед Левой Степановым бумагу и сказал: «Заверь», тот, макнув ручку в чернила, поднял глаза и долго смотрел на него. Возвращаясь, он еще чувствовал на себе этот сочувственный взгляд. Всего-навсего первый из многих. Наверное, и другие будут считать, что такие немолодые и некрасивые не оставляют женщин. Что женщины уходят от них сами.

Он вошел в комнату и отдал своей бывшей жене удостоверенную редакционной печатью и вложенную в редакционный конверт бумагу.

Она взяла эту бумагу с печатью, расстегнула планшет и, положив ее туда, снова застегнула.

«Вот так все и кончается», – подумал он о прожитых с нею годах. Те, какими они были с нею, они кончились, а тех, какими они могли быть без нее, уже не будет. Он с чувством потери чего-то невозмездимого вспомнил себя тогдашнего, тридцатилетнего. Его, тогдашнего, уже не будет – ни для какой другой женщины. Теперь будет только он теперешний, немолодой и не по адресу истративший свои душевные силы. И поэтому не верящий в ту часть себя, которая не война и не работа.

– Сядь, поговорим, ты ведь хотела, – сказал он, садясь на койку и накидывая на плечи полушубок. Его знобило. Он только умел казаться, но не умел быть каменным.

– Нет, я буду ходить, мне так легче, – сказала она и со скорбным лицом и сплетенными за спиной руками стала говорить разные глупости, выношенные заранее, в дороге.

В сущности, это было длинное предисловие к просьбе отпустить ее с богом. И оно имело какой-то смысл раньше, перед этим, а не теперь, когда он уже отпустил ее. Но ей было жаль оставлять при себе все эти заранее приготовленные и теперь уже бессмысленные слова.

А он слушал и думал: «Нет, она ехала сюда в поезде все-таки не вдвоем, а одна – чтоб прорепетировать всю эту околесицу, нужно было время и одиночество».

Она говорила о себе, всегда понимавшей его. И о нем, никогда ее не понимавшем. О своих жертвах, принесенных ради него.

О том, как она рядом с ним постепенно перестала быть самой собой и как только теперь, без него, снова чувствует себя человеком.

Все это было не ново. Новым было только одно: у нее в планшете лежал кусок бумаги с печатью, за которым она приехала, и она выясняла отношения, которых уже не существовало, забыв о том единственном, что еще продолжало существовать между ними, – об их дочери, которую ни она, ни он не видели уже десять месяцев, после эвакуации школы. Он так и не смог выбраться туда, под Горький, а она так и не удосужилась съездить.

Он не спорил. Того, чем все это в прежние времена кончалось, всегда одинаково – в постели, сейчас уже не могло быть. Он молчал и ждал, когда она все-таки заговорит о дочери, но она думала и говорила только о себе.

Он снял трубку и попросил по телефону, чтобы ему дали на час редакционную машину.

– Куда ты собрался? – спросила она, остановившись посреди комнаты.

– Хочу отвезти тебя домой. Скоро начнется работа, будут приходить люди.

При слове «домой» она вдруг посмотрела на него старым, тем взглядом. Может быть, подумала, что он хочет, чтобы и этот разговор кончился тем же, чем кончались прежние. И кто ее знает, как бы она поступила, если бы он захотел этого сейчас? Какую форму торжества над ним выбрала: сказав «нет» или в последний раз сказав «да»?

– Может быть, достать тебе бронь на билет у нас в редакции? – спросил он, встретив ее взгляд.

– Мне ничего не надо, у меня все есть.

– Тогда я тебя отвезу. – Он вынул из кармана и отдал ей ключ от квартиры.

В машине оба молчали. Молчали и поднимаясь по знакомой лестнице. У дверей в квартиру остановились, и он поставил чемодан.

– Как мы поступим с Ниной? – спросил он о дочери. Спросил, хотя всю дорогу в машине думал об этом и уже решил, как поступить.

– Я думаю, что пока ничего не надо писать, – неуверенно ответила она, и у нее снова легко навернулись слезы.

– Пока – что? – спросил Лопатин. – Пока ты не решишь или пока я не решу? Пока – что? – повторил он.

Он знал, что есть еще и другие «пока». Пока идет война, пока его не убьют или пока он не останется жив на этой войне. Пока она сама не поймет, насколько ей будет мешать в ее новой жизни пятнадцатилетняя дочь, если взять ее к себе. Наверное, будет мешать, но насколько?

– Я еще ничего не решила, – сказала Ксения, не вытирая глаз и просительно глядя на Лопатина, словно ему ничего не стоило отложить этот разговор.

– А я решил. Я напишу ей, что мы разошлись с тобой. Ей пятнадцать лет, и она должна все знать. Не думаю, что это особенно удивит ее.

– Все равно для девочки это будет ужасное горе.

– Ничего, – сказал он. – Кругом нее сейчас гораздо больше всякого другого, более ужасного горя, чем это.

– Тогда я тоже напишу ей.

– Это твое дело. Я напишу ей и постараюсь с ней повидаться. А потом отправлю в Омск к сестре, если сестра согласится взять ее до конца войны.

– Не знаю, я должна подумать. Я могу захотеть взять ее потом к себе. Ты должен учитывать эту возможность, когда будешь писать ей или говорить с нею.

– Я не напишу и не скажу ей о тебе ничего плохого. – Он хотел добавить, что дочь не дура и достаточно насмотрелась на их отношения. Но удержался. Уже решил, что не отдаст ей дочь и сумеет сделать это, потому что его желание не отдать ей дочь сильнее ее желания взять дочь к себе. И, чувствуя свою силу, не захотел быть грубым.

– Не знаю, – беспомощно махнула она рукой. – Поступай как хочешь. Ты и так сделал все, чтобы отдалить ее от меня.

Он промолчал, хотя это была неправда. Он никогда и ничего не делал для того, чтобы отдалить от нее дочь. Он просто был ей ближе, чем мать, и это началось давно, с тех пор, как девочка пошла в школу и начала делиться с ним, а не с ней главным из того, что происходило в ее маленькой, отгороженной от них жизни.

– Хотя я чувствую себя сейчас виноватой перед тобой, но виноват все равно ты, – сказала она с полными слез глазами.

Ну что ж, в этом была доля правды!

– Будем считать, что так, – сказал он и, поцеловав ей руку, пошел вниз по лестнице.

– Вася! – окликнула она его, когда он уже спустился на два марша.

– Что? – остановившись, спросил он.

Она смотрела на него, свесившись через перила.

– Спасибо, что ты на меня не сердишься. И больше не высылай мне аттестата, не нужно.

– Хорошо, не буду. – Он, не оборачиваясь, пошел вниз.

2

Так он расстался со своей женой, которая с тех пор прислала ему три письма и в первом из них заверенную у нотариуса копию свидетельства о разводе.

Третье, осеннее письмо было уже не из Казани, а из Ташкента.

Оказывается, ее мужа перевели туда, тоже директором, но в другой театр. Она писала, что рада этому переводу. Новое место, новые люди, и ничто не напоминает ей о прежнем.

«Ну и радуйся, пожалуйста. Я-то тут при чем?» – сердито подумал он тогда, осенью, прочитав это письмо. Но все равно ответил на него, как и на два первых, что жив, здоров, все нормально.

У него не было причин обижать ее, не отвечая на ее письма.

Пусть они не особенно умные, но ведь это при тебе, казалось бы, умном человеке, она так и не поумнела за пятнадцать лет совместной жизни...

С дочерью он сделал все, как решил. Вызвал по редакционному телефону на переговорную в Омске свою старшую, замужнюю, но бездетную сестру. Докричался до нее, объяснил в нескольких словах, что произошло, и получил разрешение прислать дочь.

– Только если она сама захочет, слышишь? – кричала на него по телефону сестра. – И чтоб Ксения носа к нам не совала – выставлю! И сам не качайся, – снова крикнула она. – Слышишь?

– Слышу, слышу, – сказал он. – Уже не качаюсь, хватит.

Сестра знала, что он два раза, еще до войны, собирался расстаться с Ксенией, да так и не расстался. Дождался войны.

Сестра была учительницей математики, и была замужем тоже за учителем математики, и там, в Омске, работала в одной с ним школе тридцать пять лет, с девятьсот седьмого года. Ксению она знала, но не любила и, наезжая в Москву, останавливалась не у брата, а у своих знакомых.

Видела несколько раз и девочку. В последний раз, когда ей было двенадцать лет. И, уезжая к себе в Омск, на вокзале бесцеремонно сказала на прощание Лопатину:

– На тебя наплевать, нисколько тебя не жалею, – что посеял, то и пожал. А за девочку страшно. Жаль, что нет закона: отнимать детей у тех, кому они не нужны.

Когда Лопатин сказал по телефону, что вышлет на дочь аттестат, а кроме того, постарается отправлять посылки, сестра ответила:

– Разумеется! Кормить-то ее надо! А как у нас – сам догадываешься. Присылай все, что сможешь. Не бойся, кроме нее, ни на кого не истрачу.

Можно было этого и не говорить, но по своему самоедскому характеру все-таки сказала! Еще потом, после войны, заставит читать целый гроссбух – сколько было получено и на что истрачено!

Ничего не поделаешь, такая уж была она – не подходи, ушибешься, – его старшая сестра Анна Николаевна, которую с детства любил и с детства боялся, а теперь собирался отправить к ней свою дочь.

Писать дочери о том, что произошло, он не стал. Попросил ехавшего в эти дни через Горький в Балахну в командировку по бумажным делам начальника издательства захватить на обратном пути дочь. Написал ей короткую записку, чтобы приехала повидаться, пока он здесь, в Москве, и послал ей вызов. Оформить его было сложно, но редактор, в свое время обещавший, но так и не отпустивший Лопатина съездить к дочери, теперь, как ни трудно, устроил этот вызов.

Девочка приехала растерянная и счастливая. Первое, что спросила, пока ехали с вокзала в редакцию:

– А где мама?

Но когда отец объяснил, что матери нет в Москве, понимающе кивнула:

– Я так и подумала, а то бы ты вместе с ней написал.

Ехала и смотрела по сторонам на московские улицы, на закамуфлированные, перекрашенные дома, на ежи, на сохранившиеся, еще не разобранные по сторонам от проезжей части Садового кольца баррикады... Сказала:

– Всем у нас так хочется в Москву...

Он привез ее не домой, а в редакцию, в ту комнату, где неделю назад объяснялся с ее матерью.

Утром с помощью товарищей он перетащил сюда из других комнат диван и два пустых канцелярских шкафа – отгородил ей закуток.

– Поживешь тут два-три дня со мной на казарменном положении.

Дочь счастливо кивнула, и по глазам ее было видно, что она готова не два-три дня, а хоть до конца войны жить тут с ним рядом на казарменном положении. И он почувствовал себя таким виноватым перед нею, хоть плачь.

– А подольше нельзя? – не удержалась и спросила она.

– Нельзя, – ответил он. Потому что и в самом деле было нельзя. Шли бои на Харьковском направлении, и, если б не дочь, он улетел бы туда сегодня же, а не через два дня, как договорились теперь с редактором.

Он начал напрямик, с самого трудного, с рассказа о том, что произошло между ним и ее матерью. Но разговор этот оказался проще, чем он думал. Хотя что значит «проще»? Для него, может, и проще, а как для нее, неизвестно. Проще оттого, что она не плакала? Но она вообще никогда не плакала.

Она выслушала и спросила:

– Мама не оставила для меня письма?

– Не оставила. Сказала, что напишет тебе.

– А как ты думаешь, она не вернется?

Можно было ответить просто: думаю, что не вернется. Но надо было договаривать все до конца, и он сказал, что сам не хочет, чтобы ее мать возвращалась к нему.

– Совсем не хочешь?

– Совсем не хочу.

Она поняла, что он говорит правду. Сидела молча, потом спросила:

– Ты совсем не знаешь ее мужа?

– Совсем не знаю, – сказал он и добавил: – Хочу надеяться, что он хороший человек.

Она пожалала плечами, как старшая, с которым заговорили, как с маленькой.

Он ожидал, что самым трудным будет уговорить ее ехать в Сибирь к тете Ане, но она отнеслась к этому со взрослым пониманием безвыходности своего положения.

– Хорошо, я поеду. – И спросила, долго ли идут туда письма.

Он не мог толком ответить. Сестре за время войны писал всего два раза, а ее письма получал, возвращаясь с фронта, не зная, сколько они пролежали в редакции.

– Я буду оттуда писать маме, хорошо? Ты не возражаешь? – спросила она.

И, поспешив ответить: конечно, нет, не возражает, он даже не понял сразу, каким важным был этот вопрос, оставлявший ее с ним и отделявший их обоих от матери.

Нет, разговор об отъезде в Сибирь оказался не самым трудным.

Самое трудное наступило на третий день утром. Ему надо было улетать; внизу у подъезда дожидался в машине летевший вместе с ним фотокорреспондент, а у дочери был билет на уходящий в Сибирь вечерний поезд. И уже ничего нельзя было поделать ни с его командировкой, ни с ее отъездом. Гурский обещал посадить ее в поезд и договориться с проводниками. И не приходилось сомневаться, что он сделает все это не хуже, чем сам Лопатин. А все-таки в последние минуты, когда наспех пили чай с бутербродами вдвоем – он, она и Гурский, – на

лице дочери, таком взрослом до этого, вдруг с детской откровенностью выразилось страстное желание, чтобы не уезжали ни он, ни она, чтобы все продолжалось так, как было в эти два с половиной дня – может быть, самые интересные во всей ее жизни. Она прожила их вместе с ним, со своим отцом, здесь, в редакции, окруженная добрым любопытством всех этих военных людей, с которыми он знакомил ее в длинных редакционных коридорах и которые сами заходили в его комнату, чтобы взглянуть на жившую у него на казарменном положении дочь, а потом начинали при ней говорить с ним о своих делах: где кто был, что написал и кому и на какой фронт снова надо лететь или ехать...

«А вдруг все-таки можно остаться здесь и хотя бы дождаться тебя? – говорили устремленные на Лопатина глаза дочери. – Может быть, все-таки можно? Ну, как-нибудь».

Он даже пожалел, что, наверно, поступил как-то не так, дав ей прожить эти два с половиной дня здесь, в редакции. Но что было делать? Он допил стакан чая и поднялся.

Она тоже встала, жалко опустив плечи.

– П-послушай меня, Н-нина! – сказал наблюдавший за ними обоими Гурский. – Я чувствую, что ты хотела остаться у нас здесь работать, скажем, курьером.

– Да! – Она вздрогнула от неожиданности и подняла на Гурского недоверчивые глаза.

– П-понимаю твоё желание, – сказал Гурский. – Тем более что я сам начал эту бод-дягу в редакции чет-тырнадцати лет от роду. Но сейчас время военное, немцы до сих пор не так уж д-далеко от Москвы, и ни твой отец, ни я, ни даже наш редактор, хоть он и д-дивизионный к-комиссар, не можем оставить у себя на рабботе несов-вершеннолетнего ребенка, тем более д-девочку. Ты в какой класс переходишь, в д-девятый?

– В девятый. Я уже сдала по двум предметам.

– Вот и поезжай в Сибирь к т-тетке, сд-дай там по всем оставшимся п-предметам и п-переходи в свой д-девятый класс. А мы пока отгоним фрицев п-подальше от Москвы и б-будущим летом, когда тебе будет шестнадцать лет, вернемся к этому воп-просу. Ясно?

Она улыбнулась сквозь слезы. Она все-таки плакала. Никогда не плакала, а сейчас плакала.

– И не реви, п-пожалуйста, раз тебе ясно. Твой отец уезжает не на к-курорт, а на в-войну, и не по собственной п-прихоти, а по п-предписанию начальства. Он должен быть спокоен за тебя. А чтобы он был спокоен, ты должна жить у тетки в Сибири и кончать свой девятый класс. Твой отец гораздо лучше п-пишет, чем г-говорит, а я, наоборот, гораздо лучше говорю, чем п-пишу, хотя и заик-каюсь при этом. Поэтому говорю тебе коротко и ясно то, что он сказал бы д-длинно и н-неясно. Ты мне дашь адрес, и, как только он вернется с фронта, я тебе дам т-телеграмму и подпишусь: «Д-дядя Б-боря». Ты мне нравишься, и я хочу быть твоим д-дядей. А к-кроме того, советую тебе слушать по вечерам радио. Как только твой отец из-под Харькова пришлет нам свою п-первую корреспонденцию, мы ее напечатаем, и ее сразу же п-передадут по радио. И ты б-будешь знать, что он жив и зд-доров.

– Я знаю, – сказала она. – Мы в школе всегда слушали по радио.

– Тем более. Может быть, ты не усп-пела этого заметить, но я люблю твоего отца и не хочу, чтобы ты п-проводила его слезами. В-возьми себя в руки и пошли – проводим его. П-потом я буду сидеть и работать, а ты будешь сидеть и ч-читать, п-потом мы с тобой пооб-бедаем, а вечером я п-провожу тебя и только п-после этого займусь своими личными д-делами.

Когда спускались с лестницы, Гурский шел впереди, а Нина сзади него, рядом с Лопатиным. Одной рукой она крепко держала отца за руку, а в другой несла его шинель.

Так вдвоем, ее с шинелью в руках и Лопатина, которого она держала за руку, и щелкнул у подъезда редакции Гриша Кулаковский, вместе с которым Лопатин, уже в шестой раз подряд, ехал на фронт.

– Когда вернемся и проявлю пленку, пришлю тебе, – обещал он Нине. – И повернулся к Лопатину: – Вася, в какой раз мы с тобой едем вместе? В шестой или в седьмой?

– В шестой, – сказал Лопатин. – Не крутись, поехали!

Ему хотелось скорей уехать. Он боялся, что девочка может не справиться с собой. Так оно и вышло.

Когда Кулаковский уже залез в глубь машины и пришел черед садиться Лопатину, дочь отчаянно повисла у него на шее. Он ждал, что она сама оторвется, но она не отрывалась, и ему пришлось, взяв ее за плечи, оторвать от себя. Несколько раз поцеловав ее мокрое, несчастное лицо, он быстро сел в машину и захлопнул дверцу. Машина вильнула по узкому редакционному двору, и он, повернувшись, уже не увидел дочери.

– Любит тебя! – сказал Кулаковский.

– Что? – не расслышав, занятый своими мыслями, переспросил Лопатин.

– Говорю, любит тебя!

Лопатин ничего не ответил, хотя, вспомнив прожитую жизнь и сравнив то, что он успел сделать для дочери, с тем, чего не успел или не сумел, надо было бы ответить: «Не за что!»

Они с Кулаковским прилетели на Юго-Западный фронт, когда в воздухе уже запахло бедой, и в последнюю ночь перед тем, как замкнулось кольцо харьковского окружения, добрались в две разные армии, действовавшие одна южнее, другая северней Харькова. Препирались перед этим – так или наоборот, – кому – в какую.

В результате ты жив-здоров до сих пор, а его нет! Погиб вместе с двумя своими аппаратами – стареньким ФЭДом и новенькой трофейной «лейкой», которой шелкнул перед отъездом во дворе редакции тебя с дочерью.

«Так и не вернулся, не проявил той пленки», – подумал Лопатин, лежа сейчас, через полгода после всего этого, под одеялом и полушубком в отапливаемом, но все равно холодном номере гостиницы «Москва» и читая пришедшее от дочери письмо.

Дочь писала, что у нее все отметки четыре или пять, что она кончила медкружок и через двое суток на третьи ходит дежурить в госпиталь ночной санитаркой.

«Наверное, клюет после этого носом на уроках», – улыбнулся, читая письмо, Лопатин.

Письмо было бы совсем хорошее, если б не приписка, что «тетя Аня не пишет, потому что приболела, лежит, передает тебе привет. Только что ставила ей банки». Значит, и банки научилась там ставить! А сестра больна. Раз лежит – дело серьезное: такие, как она, пока с ног не свалятся, не лягут.

Уже засыпая, он с раздражением подумал о Ксении: есть у девочки мать, здоровая, еще молодая баба, а ребенка пришлось навязать на шею старой больной женщине. И хотя до конца войны ничего другого, чем то, что он сделал, сделать было нельзя, у него все равно оставалось чувство какой-то нелепой вины, словно у девочки могла быть не эта, а другая мать, словно он когда-то давно мог выбрать ей в матери кого-то другого...

Проснувшись, съев выдававшийся в гостинице по талонам на завтрак винегрет и выпив чаю, Лопатин сел отписываться. Писал весь день до вечера и весь следующий, почти не выходя из номера.

Писать было трудно, потому что наступление было трудное. Наступали, ради того чтоб любой ценой приковать к себе стоявших против Москвы немцев, не дать им перебросить резервы на юг, где у них все сыпалось и трещало по швам. И если бы можно было вот так откровенно и написать про это, все сразу стало бы на свое место. Но как раз об этом и нет права писать. Во время войны такая откровенность за гранью дозволенного.

На второй вечер Лопатин позвонил Гурскому. Редактор еще не вернулся с фронта.

Лопатин попросил отсрочки, сказал, что, наверное, перекрестит все написанное и с утра начнет в другом разрезе. Назовет «Вторая зима» и напишет про один полк, в котором был. О том, как в снегу по горло три дня брали превращенную немцами в узел обороны совхозную усадьбу и все же взяли ее!

– Н-насколько я понимаю, – сказал Гурский по телефону, – редактор ожидал, что ты возьмешь п-пошире.

– А у меня пошире не выходит. Выходит как раз поуже! Скажи мне, как, по-твоему, название? И можно ли сдать послезавтра утром?

– Н-название не самое гениальное, а н-насчет «м-можно», то с т-тех п-пор, как редактор п-перевел тебя в писатели, можешь сослаться на т-творческие т-трудности. В пределах суточного оп-поздания, б-больше все равно не сов-ветую!

Гурский положил трубку, наверное очень довольный собой.

Слова насчет перевода в писатели были его обычным ёрничеством.

В поле зрения, или, точнее, притяжения редактора Лопатин попал случайно. Он всегда много ездил и в одну из таких дальних поездок, когда вдруг начались халхин-голские события, оказался рядом с ними и своим будущим редактором – в Чите. А уже через сутки вылез из самолета в Монголии в своем штатском костюмчике, который впервые в жизни предстояло сменить на военную форму.

В финскую войну редактор вспомнил о нем и вытребовал к себе в армейскую газету. А в начале этой войны, уже не спрашивая согласия, призвал как командира запаса и забрал в «Красную звезду».

У редактора не было ни времени, ни охоты читать книги, которые Лопатин писал до их встречи. Главным для него было, что Лопатин работает с ним уже на третьей войне, а писатель или не писатель Лопатин – он не размышлял. Да и, по правде говоря, настоящими писателями считал только тех немногих, кого все знают, о ком услышишь на каждом углу. К ним он и относился как к писателям, старался, чтобы они почаще писали в газету, а если они оказывались на фронте, давал телеграммы своим корреспондентам, чтобы по возможности берегли писателей от пули и отправляли их материалы в Москву раньше собственных.

Лопатин хорошо знал все это и не стремился стать для редактора «писателем».

«А там, после войны, будет видно, кто на что способен, – думал он иногда, перелистывая свои фронтовые тетради, которые вел по возможности регулярно и знал им цену. – Хватило бы духу да не разбиться бы где-нибудь по дороге на самолете! А материала – хватит!»

В этой последней мысли присутствовала доза яду: мол, некоторым другим, кто по-другому, чем ты, ездит, может и не хватить.

А тебе-то хватит!

Перемену в отношении к себе редактора Лопатин заметил после возвращения из Сталинграда. Он высиел там в 62-й армии безотлучно почти два месяца. Переправился через Волгу в конце сентября, а уехал в ноябре, после того, как Юго-Западный и Сталинградский фронты соединились у Калача и взяли немцев в кольцо. Дождался этого там, в Сталинграде, и накануне отъезда передал по военному проводу последний очерк о людях, продержавшихся до конца на своих последних сталинградских «пяточках».

До этого послал из Сталинграда еще четыре очерка – тоже больше о людях, чем о событиях. Потому что, по сути, люди и были тем главным событием, которое произошло в Сталинграде. Событием было то, как они воевали и, несмотря ни на что, выстояли.

За это время у Лопатина два раза возникал соблазн попроситься в Москву, как говорят в таких случаях, «отписаться».

А в сущности, передохнуть от опасности. Но он преодолел себя и высиел. И наверное, оттого, что дольше, чем когда-нибудь, просидел в одном месте, по многу раз встречаясь с одними и теми же людьми, глубже понял их и лучше написал про них – сам это чувствовал.

Очерки перепечатали в «Правде». И передали по радио. Редактор, встретив Лопатина в Москве, поздравил с высокой оценкой его очерков «наверху». Так именно и выразился. И сказал, что приказано издать их отдельной книжкой. И что Алексей Николаевич Толстой, с которым он говорил по телефону, тоже похвалил очерки, назвал их художественными.

Потом вдруг предложил отпуск на месяц.

– Посажу тебя под Москвой, в Архангельском: напишешь нам что-нибудь совсем художественное, чтобы печатать с продолжениями.

Под «совсем художественным» редактор подразумевал что-нибудь с вымыслом, например повесть.

«Совсем художественное» Лопатин писать был не готов и от кабалы такого отпуска скрепя сердце отказался. Вместо этого просто неделю передохнул: до поездки на Западный фронт сидел в редакции и правил чужие материалы.

После своих «художественных» очерков Лопатин стал в глазах редактора писателем. Не таким известным, как те, другие, но все-таки писателем. Над этим и язвил Гурский.

Лопатин провозился над корреспонденцией еще день и утро, но все не мог найти концовки, когда Гурский позвонил ему снова.

– Имей в виду, прибыл с фронта и сп-прашивал п-про тебя. Сказал ему, что раб-ботаешь над словом, обт-тачиваешь художественные детали. Но д-дольше, чем до вечера, обтачивать не советую! Если какие-нибудь заминки с п-пейзажем, в крайнем случае я впишу. Ты же знаешь: я мастер п-пейзажа. К-какой-нибудь там колко п-похрустывающий снежок или обнаженно без-защитные б-березки, – п-пожалуйста, могу б-бесплатно!

3

Лопатин привез корреспонденцию поздно вечером.

Редактор встретил его недовольно:

– Что-то ты завозился не по-газетному.

И сразу стал читать за своей конторкой написанное Лопатиным. Прочел до конца, пошевелил губами, прикидывая, как это влезет в макет номера, и, без колебаний перекрестив красным карандашом полторы страницы, сказал:

– Поставим завтра четырехколонником.

Потом воткнул своим красным карандашом вопрос перед названием «Вторая зима».

– Считаешь, что хорошо назвал?

– Считаю, что хорошо.

– Не соответствует содержанию, – недовольно сказал редактор. – Обобщения-то у тебя не получилось!

– Не получилось, – согласился Лопатин.

– Какая же это «Вторая зима»? – Редактор перечеркнул название «Вторая зима» и поставил вместо него «В одном из полков». – Вот теперь – соответствует. Ожидал от тебя большего. Но в общем, вышел из положения.

Слова «вышел из положения» значили, что редактор и сам понимает трудности, которые стояли перед Лопатиным, но не хочет говорить с ним на эту тему, недоволен чем-то еще, кроме корреспонденции. Чем именно недоволен, выяснилось ровно через минуту, после того как он подписал и отправил материал в типографию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.